

НИКОЛАЙ НИКИТИН



ы потеряли человека, а не только писателя с богатым и своеобразным талантом. Именно своеобразным, ибо подобного ему не найдешь ни в прошлом, ни в настоящем русской литературы.

Вскоре после смерти Алексея Николаевича Толстого я написал несколько своих мыслей о нем. Сейчас, перечитывая написанное, я позволил себе сделать еще ряд дополнений. Вот эти мысли и впечатления.

Западная часть Берлина. Безвкусная роскошь Курфюрстендамм, той самой улицы, от которой в 1945 году осталось только шесть домов. Идет двадцать третий год.

Пробираясь через поток автомобилей, я вижу А. Н. Толстого с женой Н. В. Крандиевской. Он «европеец», от шляпы до ботинок. Но я сразу узнал его и окликнул. Здесь, на тротуаре, мы впервые в жизни разговорились. Толстой возвращался из своих странствий по «заграницам» в годы гражданской войны, и я спросил его об этом и тут же увидел его сияющее лицо. Радость — вот было мое первое впечатление от Толстого. Уже впоследствии, когда мы познакомились поближе и подружились, я понял, что быстрый, почти детский переход от одного настроения к другому — «толстовское» свойство. Как он любил радоваться! Как в минуту радости все менялось в его широком круглом лице, как светлело оно... И тут же впервые, на этих «курфюрстендаммовских» плитах, я услышал его поистине русскую речь, круглую, будто обкатанную, с легкой оттяжкой.

— Через три дня в Москву! На родину. Вон отсюда... От этой «Смены вех»... От Берлина...

Не забыть мне, как здесь же, с неожиданной экспрессией, с каким-то каскадом слов, Толстой — не выбирая выражений, не стесняясь — простодушно выложил все свои затаенные чувства и, будто стыдясь своего пребывания на этом «заграничном тротуаре», отплевывался от всего, что его окружало. Презрительная губа, энергичный кулак. В этом было много юношески наивного, совсем молодого, хотя в ту пору ему было уже за сорок лет.

Так состоялось наше первое знакомство.

«Трудно сейчас вспомнить об Алексее Толстом», — писал я в 1945 году, сразу же после его кончины. Но я бы сказал, что и сейчас мне это сделать не легче. Все тот же живой, меняющийся будто на ходу человек перед моими глазами. Раскатистый, толстовский смех от души только и слышится мне. Все в нем так полно «запасами жизни», что я никак не могу «вспоминать» о нем, слишком он жив для меня. Откровенно говоря — нельзя, невозможно было не любить Толстого. Мы, писатели, во всяком случае многие из нас, любили его человеческое обаяние так же, как и обаятельность его таланта.

Прав Николай Тихонов, писавший о нем. Действительно, это был «добрый талант». Прав Горький — «веселый талант».

Он не хотел трагедии или драмы, он избегал их даже в самых тяжелых для себя обстоятельствах, и, если бы он жил не с нами, не в наше время, он мог бы повторить слова Франциска Ассизского, что из всех грехов — самый тяжкий уныние и что бог — это веселье.

Когда мгновенной мыслью, пробегающей, подобно искре, от первых написанных им строк и до последних, я стараюсь уяснить все из его книг наиболее сильное, яркое и удавшееся ему, я вижу это в улыбке, в шутке, в лирике либо в действии, как в романе о Петре. То есть в устремлении жизни, в полном ее утверждении и даже в наслаждении ее преградами, в наслаждении от трудов, которые она приносит.

Да, в книгах он не любил смерть. Он не всматривался в нее с той внимательностью, тоской, иногда даже тягой к ней, которые встречаются в русском романе. У него люди наталкиваются на нее случайно и потом исчезают как дым.

Помню, как умер его друг историк П. Е. Щеголев.

В те годы (это был первый период жизни ленинградской Алексея Николаевича, только что вернувшегося на родину, период — не очень легкий для него, надо правду сказать) состоялось его первое знакомство не только со Щеголевым, но и со многими писателями-ленинградцами, начиная от К. А. Федина. Это был тот круг молодой еще советской литературы, в который Толстой только что «входил».

Помню, как, очевидно для сближения, А. Н. Толстой устроил у себя на квартире чтение нескольких глав тогда еще только писавшегося К. А. Фединым романа «Города и годы».

Читать, конечно, должен был Федин.

Здесь, в очень скромной квартире Петроградской стороны, за скромнейшей «сервировкой», если так можно сказать о щербатых тарелках и простых железных вилках, состоялся «литературный» обед Толстого. На первое были поданы щи, а на второе — вареное мясо из этих же щей, только с хреном.

Толстой как будто немножко стеснялся и в то же время радушно угощал нас этим блюдом, весело приговаривая:

— Это великолепно, уверяю вас... Французы это очень любят... Это «беф буйи»...

Но сколько было радости после обеда, когда началось чтение «Городов». Толстой с дружеской и легкой простотой вошел в творческое общение; очевидно, отсюда началась его большая и глубокая личная дружба с К. А. Фединым. Ведь многое решает первая встреча.

Вернемся к П. Е. Щеголеву. Щеголев был колоритной фигурой тех лет. Широко известный большому кругу историков, он, однако, не участвовал в университетской жизни. Это был прежде всего «литератор», издатель историко-революционного журнала «Былое». Но его труды о Пушкине и такой классический труд, как «Дуэль и смерть Пушкина», навсегда обеспечили ему место в пушкиноведении. Вообще это был интересный человек, интересный историк, очень осведомленный в истории русского революционного движения, великолепно знавший революционные архивы, также знавший многое из материалов о гражданской войне.

Мне довелось слышать не раз, как оба они, то есть Толстой и Щеголев, беседовали друг с другом на эти темы, и Щеголев-историк мог натолкнуть Толстого-романиста на многое. Это так и было, когда Толстой начал писать вторую часть «Хождения по мукам». Вот начало их дружбы, основанной на творческой работе, а не только на «быте», как некоторые думают.

Они были неразлучны. Толстого и Щеголева мы видим всегда вместе — в театре на премьере, на литературном вечере, в гостях, в ресторане, на извозчике. Один расплывающийся, огромный, еле сидит в пролетке. Толстому рядом с ним тесно, он умещается боком на краешке. Один — небрежный, широкий, одежда его состоит как бы только из складок. Другой — несмотря на свою полноту — всегда подтянутый, словно отглаженный, всегда с новой шуткой, которой он готов поделиться. Это было сочетание русского Фальстафа и русского принца Гарри. Карикатуристы не разделяли их в своих рисунках.

Щеголев умер, а Гарри не приходит даже проститься и на вопрос, как это вышло, говорит:

— Ругайте меня... Но смерть... — он как будто отпихивает что-то руками. — Я... Я не могу...

Это было естественно, понятно и человечно. Таков был Толстой. Не хотел, не понимал, не выносил смерти. Он слишком любил жизнь.

— Я не люблю ее финала,— сказал он, как бы подшучивая над собой.

Говорят, нельзя отождествлять автора с его героями. В этом утверждении есть правда. Однако и полное отрицание этого, по-моему, ложно. Без трех томиков блоковской лирики как понять человека Блока? Как увидеть Лермонтова без Печорина?

Представьте себе Алексея Толстого без «Петра». Это уже не та биография, не тот человек и совсем не тот писатель.

Мне хочется сейчас высказать одну мысль, которая прежде казалась спорной и, быть может, недостойной упоминания. Но именно теперь, когда так высоко и так всеобъемлюще литературное значение Толстого, когда в восприятии ряда его вещей многое устоялось, «осело»,— исчезла, по-моему, и та спорность. Мысль эта заключается в следующем: даже те его вещи, которые не были «причислены» к разряду удавшихся,— интересны и богаты содержанием и так написаны, что, читая их, не оторвешься. Сколько искусства и силы, сколько историзма даже в романе «Черное золото». Сколько изумительных сцен даже в «Заговоре императрицы». С каким простодушием истинного таланта, ничего не боявшегося, он подымал самые разнообразные и непохожие друг на друга пласты современной ему «быстротекущей жизни».

Вот почему в этом замечательном русском писателе я чувствую как бы душу Никиты из повести «Детство Никиты» или, как он еще называл эту вещь, из «Повести о многих превосходных вещах». Читая недавно «Слово о Шиллере» Томаса Манна, я глубоко понял это ощущение. Томас Манн утверждает, что даже в Шиллере была «величавая детскость» художника, «вечно отроческое начало» в жизни и творчестве.

Толстой жадно раскрытыми, смеющимися или удивленными глазами смотрел на этот мир, наполненный превосходными вещами. Он требовал их и добивался. Он впадал в ошибки, стучался лбом обо что-то жесткое,

вступал в драку с «мальчишками из-за оврага», бежал домой с сипяками, успокаивался, любил родное небо, русскую землю до самозабвения. Не потому ли с такой объемностью и тут же с лаконичностью и так сочно выписаны у него люди — «русский человек» разных времен и состояний: «Гадюка», и Бровкин, и даже Гусев из фантастической «Аэлиты». Он любил их.

Он брал все темы, не раздумывая и не пугаясь, если они чем-нибудь его поражали или прельщали. Брал даже те, которые ему не удавались. Он делал это так же, как покупал некоторые вещи, которые ему часто не были нужны, устраивал и переустроивал свой «быт», дома, дачи, квартиры. Несколько раз заново начинал жизнь. Он жил как будто беспокойно. Идеи, события будто сами шли навстречу ему. Он в них работал, он увлекался ими, влюблялся в них. Все это были явления превосходного мира! Многим казалось, что он живет с легкостью. На самом деле Толстой жил трудно. Вечно занятый, необыкновенно «загруженный», но довольный этим «грузом», он жил с той естественностью, с какой ручей течет среди степных оврагов, который он сам описывал в «Детстве».

Я никогда его не видел без работы. Он работал даже тогда, когда впервые серьезная и опасная болезнь настигла его. Это было за несколько лет до его переезда в Москву. С ним случилось что-то вроде удара. Боялись за его жизнь. Но через несколько дней, лежа в постели, приладив папку у себя на коленях как пюпитр, он уже работал над «Золотым ключиком», сказкой для детей. Подобно природе он не терпел пустоты. Он был увлечен.

— Это чудовищно интересно,— убеждал он меня.— Этот Буратино... Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак.

Он захохотал. В этом желании прикоснуться ко всему, успеть все была какая-то пленяющая творческая жадность, точно у Дюма. И часто мне казалось, что в этом он был похож на него. Он был так же трудолюбив, как этот француз, написавший целую библиотеку, и, садясь за стол, за обед, он так же чувствовал себя мастером, который хорошо поработал и потому имеет право «поесть».

...Я помню, как он умел прощать не только мнимые, но даже и действительные обиды. Не раз друзья по литературе писали на него злые памфлеты. Он только отмахивался.

Я вспоминаю времена, когда люди, не умевшие литературно сказать двух слов, которым никогда не удалось бы одну строчку написать таким языком, каким писал всю жизнь Алексей Толстой, отзывались о нем с возмущительной небрежностью. Он как будто их не замечал.

Это был великодушный талант.

...В Толстом было много творческой жадности. Вспоминаю одну нашу поездку, после которой он собирался «отразить жизнь водолазов». И как в этой же поездке он заинтересовался тысячей многих «превосходных вещей». И что самое главное, именно в эти дни в нем, в его писательском арсенале зародилось многое, касавшееся русского севера, что и вошло впоследствии в роман о Петре,— люди, ощущения, пейзажи.

Как же это было?

Мы едем вместе на подъем «Садко». Он, Шишков и я. Но ему мало было только этого подъема. Он изменил весь маршрут, нарушил все планы начальника Элрона Фотия Ивановича Крылова.

Беломорканал, пристани, шлюзы, капитаны, чекисты, заключенные, консервные фабрики Кандалакши, океанографические станции, совхоз Имандра, опытные полярные поля, Хибины, рудники, горнорабочие, инженеры, старообрядческие деревни на Выге—все необходимо ему, кроме водолазов и кроме подъема парохода, затонувшего еще в годы первой империалистической войны.

Он говорит о горных породах, как металлург, с геологами и с академиком Ферсманом. Со старухами крестьянками в деревнях беседует о «старой вере», «двуперстии», покупает медные иконы, отлитые здесь несколько веков тому назад, ходит на охоту, ловит форель, участвует в литературных вечерах... Вячеслав Яковлевич Шишков еле дышит, а Толстой засыпает как ребенок и встает с прекрасным цветом лица. Каждый день он обмывается с головы до пят, встает раньше всех и, фыркая над ведром, будит Шишкова своей обычной, постоянной шуткой:

— Работать!.. Вячеслав!.. Работать!

Так всегда начинался «толстовский» день в нашей поездке.

Тут же, то есть среди всех этих многообразных интересов, зреют в нем замыслы и, очевидно, возникают «подробности» Петровской эпохи, подробности о скитах петровского времени и старцах, о петровских людях, шедших в глубь этих таежных северных лесов, чтобы «рушить» старое и подымать новое.

Помню Толстого в кожаном пальто, в военно-морской фуражке, подаренной Ф. И. Крыловым, которую он всегда носил в этой поездке и которой даже «гордился». Мы плыли на маленьком гидрографическом судне среди шхер Заонежья. Толстой часами разговаривал с капитаном о путях Петра в этой глуши.

Помню, как он стоял, опираясь о поручни, смотрел на маленькие острова и зеркальные протоки, по которым мы шли, как с берега, с подлеска, вплотную подбежавшего к воде, сильный ветер бросал на палубу охапками осеннюю листву, багряную и золотую, с осин и берез...

— Здесь все Петр, все Петр...— тихо говорил Алексей Николаевич, чуть прищурясь, и точно уже прощупывал глазами свои будущие страницы, точно читал еще не написанное.

Так рождался «север» в романе о Петре.

...Лето 1942 года. Военная Москва. Тяжелое время. Сталинграда как могилы гитлеровской империи мы еще не видели даже в тумане. Германские клещи стремились обогнуть Москву, и трепет войны чувствовался на ее улицах не в воздушных тревогах, а во всем облике Москвы, с ее потоками грузовых военных машин, с людьми в шинелях, с зенитными точками и с заграждениями из аэростатов. Даже в ее красках чувствовалась война. Столица казалась накаленной, было очень душно, цвели липы, а люди, точно немые, молча, сжав губы, смотрели на карту военных действий. Тогда в эту пустынную, с чистыми, почти незасоренными улицами Москву, пришедший из Ташкента Алексей Николаевич Толстой.

Я не узнал его. Он был по-прежнему свежий, в летнем костюме, ни одной небрежности в платье, с той же

скороговоркой, с той же неизбежной шуточкой, но у него совсем иное лицо. Нет отвисающих щек, как будто к нему вернулась юность. Он очень похудел, и, конечно, не от недостатка питания. Это был другой человек..

— Не мог...— сказал он, объясняя свой приезд.— Противно в Ташкенте. Эта эвакуация... Вроде прячешься.

Вечером мы сидели на Малой Никитской, в том доме, где раньше жил Горький. Знакомая длинная, мрачная столовая. Длинный стол. Наверху в люстре горит «по военному времени» только один желтый глазок электрической лампочки. Обсуждаем события, тогда малоутешительные.

Толстой серьезен. В столовой жарко. Он без пиджака, ворот расстегнут. Сирены. Тревога. Он долго сидит не разговаривая, будто раздумывая. Потом встряхивается всем телом, как грузчик с Волги. И нет «графа», нет шелковой рубашки. Он резко встает, исчезает, затем через несколько минут приносит из соседней комнаты портфельчик и, вынув из него рукопись, снова садится за стол. Он начинает читать свой первый военный рассказ о русском человеке, из серии «Рассказы Ивана Сударева», как он назвал тогда...

Прочитав, он кладет пальцы на рукопись и постукивает по ней.

Мы сидим молча. Толстой «вымыл» сухой ладонью лицо, снова спрятал рукопись в портфельчик и тоже молча, еще выжидая отклика, оглядел всех. Федин в этом же, по-особенному напряженном молчании произносит только одно слово: «Да». Тишина после чтения полнее и лучше многих слов поведала о суровой прелести нового произведения, об огромных чувствах, огромном волнении, которые оно подымает, о тех эпических высотах характера, которые смог показать Толстой. И в ту же минуту, когда он это тоже почувствовал и правильно разгадал тишину, охватившую нас, его творческое волнение разом схлынуло, побледневшие щеки чуть порозовели, глаза стали ясными, беспокойство улеглось, и он даже вздохнул в полную силу.

— Здесь остаюсь... Да! Не уеду я из Москвы...— твердо говорит он, успокоенный собственными словами.

И с этих дней он снова впрягается в работу. Уже в Москве. Статьи, рассказы, роман, пьесы, поездки на юг, на Северный Кавказ, в Польшу. В Ленинград. Крылья Победы осеняют страну. Круто меняются события, и шестидесятилетний человек живет в их водовороте точно юноша.

В эти же годы Алексей Николаевич снова работает над книгой «Хождение по мукам». Это не были отдельные поправки. Это была сложная переработка — не та обычная, лишь для переиздания. Он вносил в трилогию немало нового, и работа так его захватила, что Толстой, как правило, не любивший говорить о себе, сам делился с друзьями своими ощущениями.

— Теперь я с бóльшим опытом... с бóльшими знаниями об этой эпохе... С бóльшим историческим навыком после Петра Первого! Эх, многое я бы сейчас переделал... Но сложившуюся конструкцию романа трудно ломать... Да и невозможно. Может быть, и не надо. Во всяком случае, и сейчас я здорово потрудился... Пришлось! И хорошо, что пришлось...

Он сказал это, будто сбросив с плеч что-то тяжелое.

Он так серьезно смотрел на проделанную им работу, что ему хотелось ее обсуждения. Состоялся на эту тему диспут в Союзе писателей.

Были разные выступления. Было немало «и хороших, и средних». Было и такое, после которого Толстой как-то сник. И только уже в конце вечера, несколько успокоившись, он сказал об одном из выступавших с присутствующей ему резкостью, но так же живописно и ярко, как все, что он писал и делал:

— Ну, чего? Крой... Но зачем жевать, как будто ему противно? Жует резину. Недостатки? Сколько угодно. Но ведь он так разбирает, точно юноша в восточной сказке, кстати написанной Львом Толстым... Помнишь ее? — Он тут же напомнил мне содержание этой сказки, заключавшееся в следующем: как некий юноша, взяв луковицу и считая, что ее суть, ее существо заключены где-то внутри, сорвал сперва шелуху. Потом верхнюю кожницу. Потом следующий слой луковицы. Затем другой. И так пошел рвать один слой за одним... — Понимаешь? Сорвав все, сей юноша пробормотал: «Что такое? Да ведь существа-то у этой луковицы и нет». Так

и они... Только рвут...— с грустью проговорил Толстой о своем критике.— Разве так можно относиться к литературе? Да писал ли он сам когда-нибудь так... Каждая страница будто кусок твоей собственной кожи.... Для меня «Хождение по мукам» — это глубоко личное... Я начал писать его еще в Париже,— продолжал Толстой.— Как писал! С каким захлебом!.. Ведь это мое дыхание! Я как сейчас вижу ту дачку под Парижем, ту местность, где все это писалось, переживалось, словно моя личная душевная драма... Я писал почти не отдыхая. Я писал, как дышал. Это моя жизнь... Мои поиски! Мое сокровенное, чем я так хотел поделиться со всеми...

И чего не понял этот критик, то понял читатель, понял народ. За это он возлюбил чудесное, великолепное дарование Алексея Николаевича Толстого и воздал ему почести как человеку и как писателю.

1945—1955